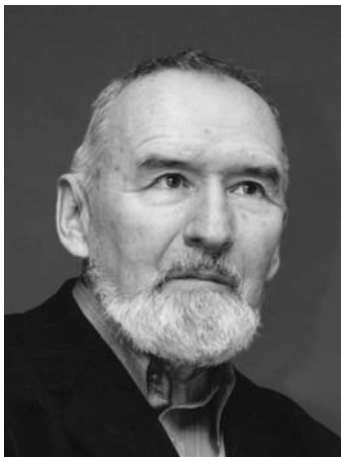


ЮРИЙ ЛЕОНОВ



НА КРАЮ МЕЩЁРЫ

ЗАРИСОВКИ

СВОЙ, РУБЛЕННЫЙ, У РЕКИ...

Помнится, мы вовсе не собирались покупать этот дом. Всю долгую зиму договаривались, какую снимем дачу, снимем непременно, потому что в двухкомнатной квартире на бывшей Третьей Мещанской нас жило шестеро, и хоть дубовые подпорки надежно страховали потолок кухни от нового падения, все же неуютно было ходить мимо этих колонн. Дом давно обещали капитально отремонтировать, да все оказывалось недосуг...

Впрочем, вполне возможно, что разговоры о даче стали навязчивыми оттого, что новорожденный сын слишком громко заявил о своих правах на чистый воздух и парное молоко. Так или иначе, намерение снять дачу было единодушным, разнились только пожелания. Хорошо, конечно, если бы повезло снять хотя бы поддома, недалеко от Москвы, вблизи от водоема, за умеренную плату, и чтобы еще... Обычно такие разговоры наводили тоску своей несбыточностью, и тогда немногословная теща со вздохом говорила о земле своего детства:

— А у нас в Костино как все зацветет вокруг — глаз не отвести.

И басовитый тесть за чаркой охотно поддакивал, что таких привольных мест — поискать да поискать.

ЛЕОНОВ Юрий Николаевич родился в Свердловске в 1932 году. Окончил Уральский государственный университет и Высшие сценарные курсы. С 1974 года по 1981 год работал в журнале "Наш современник". Автор 10 книг прозы, в том числе "Люди как люди", "Жёлуди для красной конницы". Член Союза писателей России. Лауреат премии им. Андрея Платонова. Живёт в Москве и в Рязанской области.

И вечная хлопотунья Паня, воспитавшая без родителей не только сестру, то есть мою тещу, но и четверых ее детей, тоже с дрожью в голосе говорила:

— Да, у нас в Костино и вода-то — со здешней разве сравнишь.

Все они уехали сюда с Рязанщины еще в многообещающие годы нэпа, и прошлое маячило позади в закатной розовой дымке.

— Так, может, в Костино и снимем дачу? — встревал я в эти вздохи.

— Далекое, — сокрушенно подытоживал тесть. — Под самой Рязанью.

И прения стихали до новых разговоров на ту же тему. Но однажды этот четко отлаженный механизм сбоил. Мы собрались с тещей, Ольгой Максимовной, спозаранку, и перед полуднем сошли с автобуса в Костине.

Март уже согнал снег с окрестных полей, но пропитанная вешними водами земля еще дышала прохладой. Мы тащились по грязной, расхлябанной колесами улице к избе, в которой когда-то жила теща, и, глядя на серые крыши за серым частоколом изгородей, на голые ветки деревьев, вздетых к серому, набухшему влагой небу, я думал:

“Ну вот, еще одной легендой стало меньше на свете. Все мы подобны моей жене, которая лускала в детстве такие вкусные, маслянистые, в меру прожаренные семечки, а ныне, сколько ни пробует — все не те...”

У родственницы нашей Марии Захаровой погостевали мы за столом в той самой избе отца Ольги Максимовны. Старожилы до сих пор вспоминают о нем как об искуснейшем садоводе. После долгих женских пересудов: кто жив, а кто далече, совсем было настроились мы возвращаться. Да вспомнила хозяйка:

— Разве что тетка Параня... Муж-то у нее, богомаз, недавно помер. Так она в доме почти и не бывает. Все у Нины, у дочки. Может, с ней и договоритесь — тоже родня. Дом ее у реки...

— Хорошо бы, — боясь взглянуть удачу, только и сказала Ольга Максимовна.

Все той же улицей, но уже более чистой, с уцелевшим покровом гусиной травки, мы не прошагали и ста метров, как вдруг попятнулись избы и я словно бы вознесся над грешной землей. Такая неоглядная, опоясанная рекою, окантованная сиреневатой бахромой мещерских лесов ширь распростерлась из края в край. Душа тихо ахнула и замерла. Когда-то Николай Михайлович Карамзин сказал по этому поводу: “Если бы меня спросили: “Чем никогда нельзя насытиться?” Я отвечал бы: “Хорошими видами”.

Как узнал я позднее, в древности такие высокие берега над Окой, откуда распахнуто открываются дали, называли “прѣсти”. От слова “простья”, обозначающее прощение, освобождение от болезни, исцеление.

— Вот как у нас! — заметив мое состояние, с гордостью сказала Ольга Максимовна.

Я согласен был снимать здесь дачу, как бы плоха она ни оказалась. Но все вышло удачней, чем ожидалось. И старый деревянный дом над рекой оказался еще справным, и живописна усадьба при нем с раскидистыми кронами яблонь, и покладиста хозяйка, предложившая без всяких околичностей:

— А чего вам снимать — покупайте дом да и живите, дорого не возьму...

Пока не сделали мы этой покупки, пожалуй, не задумывался я, что значит для человека свой дом. Воспитанный в традициях коммуналок — удела большинства моих сверстников, с детства считал я дом всего лишь необходимым, судьбой ниспосланным пристанищем. Быть может, тому способствовали частые переезды, связанные с работой отца, а потом и моей работой. На новом месте находилась новая квартира. Хорошо, если она была теплой и не слишком тесной. Если холодной и неудобной — тоже дело привычное: что есть, то есть.

Сам дом олицетворял некую общность живущих в нем. Он сплачивал нас в трудные годы, когда нужда и лишения равняли всех. Он отдалял друг от друга, когда недостаток стал вносить разнь. Кочевая жизнь приучила меня быстро сживаться с новой обителью, быстро знакомиться с соседями. И когда покидал это место, жалел, что расстаюсь со всем привычным, отлаженным, как будто оставлял там частицу самого себя.

И все же то был очередной наш дом, о котором заботилась некая коммунальная контора — уделом ее было прокручивать через себя все новые по-

коления постояльцев. Сам я был отчужден не только от забот о здоровье и долгодетии нашего дома, но и от традиционных мужских хлопот о топливе, воде и бане. Так вроде и было задумано: облегчить быт горожанина. Облегчили. И это благо бесспорно. Правда, никакой радиатор не заменит пляшущее пламя в печи, гулкое потрескивание поленьев, запах стелящегося от очага дыма, точно так же, как никакая водопроводная... Но не о том речь...

Только пожив годы в деревенском доме, стал ощущать его как живое существо со своим укладом и своим искони присущим ему духом, с обретенными хворями и лишь ему памятным прошлым, от которого остался в красном углу иконостас, вскорее сворованный, в матице — кольцо для люльки, на чердаке — старая деревянная утварь.

Свой дом — своя обитель, которую можешь ладить и прихорашивать на свой манер, по своему вкусу и разумению. Во все времена это было одним из самых наглядных способов самовыражения человека. А в условиях засилья ширпотреба и унификации всего, что окружает наш быт, — особенно.

Свой дом — свои заботы и в огороде, и в саду. За коллективную землю отвечают все штаты специалистов от колхозно-совхозных до министерских. За свою — один ты в ответе, переложить эти обязанности не на кого. Не оттого ли личный приусадебный участок используется в несколько раз эффективней, чем земля в общем хозяйстве? К этой истине возвращаемся трудно, признаем ее постепенно, со скрипом, но в конечном счете вынуждены будем пойти на самые радикальные перемены — брюхо прикажет, выражаясь языком наших предков.

Свой дом — свое особое место на земле, которое все крепче привязывает тебя к округе: к соседям, к лугам и перелескам, к самой непролазной заразе, как еще недавно звали в срединной России чертоломные заросли оврагов, к робко гулькающему роднику, от которого берет исток не только ручей или речка, но и святое слово Родина. Когда мы произносим его, то все же вспоминаем при этом не городскую безликую многоэтажку и светофор на загазованном асфальтовом перекрестке, а то, что истари питало в человеке чувство прекрасного на земле — первозданность природы.

Только с годами, благодаря старому дому на окраине рязанского села, пришло ко мне понимание того, что самые удивительные открытия лежат не за семью морями, а совсем рядом — стоит лишь приглядеться внимательней.

БАННЫЙ ДЕНЬ

Все лето ремонтировали баню. И вдруг прошелестел слухок: к этой пятнице веники готовить. По пятницам здесь мужской день. По субботам, как везде в деревнях заведено, — женский. Даже в городе, при ванне, тело тоскует без жгучего, до костей пробирающего духа парной. Ну, а на селе без бани — и вовсе маета несусветная.

Банщик Виктор в нарядной рубахе, одетой по случаю премьеры, так и лучится улыбкой. Новые лавки сияют свежеструганной желтизной. Аккуратной горкой сложены шайки. А над всем этим — стойкий древесный дух, побратавшийся с запахом березовых листьев. Лепота!

Днем в бане, главным образом, стар да млад. Но живучи и в эту пору традиции мужского схода. Нет такой долетевшей до села новости, которую не обсудили бы, рассевшись по лавкам. Выступают без протокола, а потому стесняться в выражениях не привыкли.

Говорят про проклятую “дыру в небе” над Антарктидой и про Ивана Коровина, который замучился таскать в брюхе ножницы, оставленные там хирургом по рассеянности год назад, про шансы претендентов на пост президента США и про то, что получилось, когда лесник Андреев пошел на пасеку, позабыв застегнуть ширинку...

Кто помалкивать предпочитает. А кого — и из предбанника слышно. Громкий, резкий голос трибуна у пасечника Николая Ивановича. Он сидит через скамью от меня, за округлой спиной Василия Васильевича. Девяносто

седьмой годок пошел моему соседу, но еще держится молодцом: в лютый пар забирается на верхнюю полку.

С Николаем Ивановичем мы только что сошлись у крана. Он сказал, что, наконец, дали ему персональную пенсию и теперь-то в самый раз можно написать о нем. Не получив никаких заверений на этот счет, он сел на лавку и повел наступление с другого фланга:

— Вот взять Василия Васильевича. Все прошел! А что о нем знают? Да ничего!.. В гражданскую взяли их басмачи, весь отряд — двести человек. Всех расстреляли, он один остался в живых. Так то один случай. А он с басмачами пятнадцать лет воевал!

— Пятнадцать лет?.. Это какие же годы? — вырвалось у меня.

— Те самые! — отрезал Николай Иванович, почувствовав оскорбительное для себя недоверие. — Раньше-то как служили!.. Я вот три года отбухал, на год оставили еще. А там — война, с первого дня в самое пекло на границе. Да и после не сразу демобилизовали. А вы говорите!..

Разговор этот струится мимо туговатого на ухо Василия Васильевича, не задевая его. Наклонившись к соседу, спрашиваю погромче, когда же с басмачами он воевал.

— В двадцать первом — двадцать втором. Потом комиссовали.

Николай Иванович намывает мочалку, делая вид, что не слышит этих слов. Вот весь он тут. Сдается человеку, что о героическом надо говорить только так: масштабно, звонко, чтоб люди рты разевали, внимая. А иначе — преснятина...

Позднее узнал я у Василия Васильевича, как на самом деле попал он под расстрел.

— В девятнадцатом году это было, на Кубани, возле Тоннельной, — удивительная память у человека, столько поколесил в молодости по белу свету, и почти каждое местечко помнит, где был. — Надо было идти на Новороссийск горами. А кто-то и предложил: можно тоннелем проскочить, покорооче. В том тоннеле и взяли нас белые, весь отряд. Загнали в ригу, часовых приставили.

Вечером пришел офицер, трезвый, глаза острые, кричит: “Выходи по одному!” Построил нас первую партию в одну шеренгу, и давай считать каждого пятого. Отсчитает — и тут же из маузера, на месте. Человек, может, восемь положил, точно не скажу. Дошел черед до Лурика. Дюжий был матрос. Ждать своей пули не стал. Как хрястнул кулаком по голове, так и опал офицерик. Лурик маузер хватить и гаркнул: “Полундра!” Ну мы и разбежались кто куда с караульными вместе.

От той поры, от генерала Краснова до сих пор — рябая отметина на шее Василия Васильевича. Зацепило осколком. Глянул я по лавкам. Неподалеку пристроился со своей культей цыгановатый лесник Николай Михайлович, оставивший ногу под Краковым в сорок пятом. Чуть дальше сидит Николай Николаевич, бывший наш банщик, с белеющим на теле шрамом на память о боях под Хасаном. С ним рядом — осторожно трет мочалкой раненую голень погрузневший Михаил Михайлович Кошуро. И в финскую кампанию, и в Отечественную войну крутил он баранку на фронте... Вся история века расписана на жилистых, каленых терпением мужицких телах.

Выхожу в предбанник, а Николай Иванович уже там, рассказывает, помогая себе энергичными жестами жилистых рук:

— ...Юзек был у меня, телохранитель, надежный мужик. Но и он растерялся однажды. Вошли в село вдвоем. А он самогона где-то достал. Я говорю — брось! — немцы! Делай, как я! Ни звука без команды! Ты влево смотришь — я вправо. Руку со спускового крючка не снимать! Так и пошли вдвоем через все село с автоматами наизготовку. Немцы едят нас глазами. А мы прем прямо посреди улицы. И ни один фриц по нам не стреляет. Известно, впереди разведка идет, боевое охранение. А у них приказ — стрелять только по главным силам. Прошли село, дали ходу. И — ищи нас свищи. Ну, говорит Юзек, штаны у меня... Вот так вот! А ты говоришь — война...

Где еще услышишь такие воспоминания?.. Только в бане.

ПОЛМЕШКА РЖАНЫХ СУХАРЕЙ

Зашел к соседям, а у них гостья, Майя, подруга Зинаиды Григорьевны. Вернее сказать, не гостья приехала из Рязани, а помощница, из тех, кто сложа руки сидеть не любит. На веранде, куда ни глянь — банки с перцем и помидорами. Пряно пахнет укропом и чесноком, смородиновыми листьями. И разговор, закружив вокруг всяческих солений да мочений, до которых здешние хозяйки большие мастерицы, вдруг повернул в те годы, когда и кусок пресной лепешки был в радость.

Черты лица у Майи мягкие, добрые, а в голосе волнение, словно изо дня в день не перестает она удивляться превратностям жизни. Как запомнил ее рассказ о бабушке Наташе, так и передаю.

В войну эвакуировалась их семья из Брянска, с заводом, где работал отец. Жарко было в городе, и Майя никак не могла понять, зачем всех их, братишку и трех сестреноч, старшие одели в шубы и для чего каждому прилепили на запястье по блеклой, совсем некрасивой полоске из клеенки, где были написаны имя и фамилия.

Ехали в теплушке, вместе с другими заводскими, в тесноте, да не в обиде. Вскоре раздали сухой паек — сухарями. На семерых получилось полмешка ржаных сухарей, которым особенно обрадовалась бабушка Наташа. Она готовила пищу, а продукты были уже на исходе.

Эшелон двигался медленно, часто замирая в ожидании встречных. На одном из полустанков, воспользовавшись остановкой, соседка по теплушке примус разожгла и картошку варить поставила, а очистки решила выбросить. И двух шагов от вагона не сделала, как из встречного, только что остановившегося эшелона протянулись через решетку нетерпеливые руки. Мосластые, костлявые, в синяках да ссадинах: “Дай!!!”

Женщина испуганно отпрянула. А когда поняла, что тем, за решеткой, ничего от нее не надо, кроме очисток, горько спросила, куда ж их таких везут, неужто на фронт?

— Штрафбат, — выдавил кто-то.

— Штрафбат... штрафбат... — прошелестело по теплушке. Никому из взрослых не надо было объяснять, откуда едут эти люди и что их ждет впереди, пред легионами сытых, вооруженных в лучших арсеналах Европы. Молчали женщины и старики, молчали мастеровые и дети, вглядываясь в перекрещенный решетками полумрак, где делили тонкие до прозрачности картофельные очистки.

— Пустите! — шумнула бабушка Наташа и спрыгнула с подножки, прижимая к животу полмешка ржаных сухарей.

Она пошла вдоль состава, не минуя ни одной из страждущих, протянутых рук. Вослед покатило все глуше: “Спасибо, мамаша... Дай тебе Бог здоровья...” Утирая слезы, женщины опасно глядели в ту сторону, откуда уже бежали конвоиры. Расправа была короткой. Конвойные били прикладами по рукам сначала с лентой, потом — зверея от проклятий. А бабушку Наташу бить не посмели. Лишь оттолкнули так, что на ногах устояла едва.

Но мешок был уже пуст. Она подняла холстину над головой, и одобрителный рев заглушил свисток паровоза.

Едва бабушке Наташе помогли забраться в теплушку, как холщовый мешок пошел по рукам. Каждый совал в него по доброй жмене сухарей, пока их не стало столько, сколько было.

— Спасибо вам, люди добрые, — низким поклоном ответила бабушка Наташа.

Ехали долго, а всего-то до Саратовской области. Отца Майи вскоре взяли на фронт. Остались на память от него лишь большие кирзовые сапоги, стоящие у порога избы. Их надевали зимой по очереди, кому требовалось выйти на холод.

А мама устроилась работать в сельсовет: грамотная была, гимназию окончила. Давали ей в месяц по пять килограммов муки, из которой бабушка Наташа пекла пышки. Небольшие, с пряник величиной, но вкусные необыкновенно. Из муки да отрубей, со жмыхом растертых, из сушеной лебеды

да “калачиков”, тех самых, что вдоль дороги растут и сходят у ребят за конфеты.

Каждый раз бабушка пекла пышек на всю семью да три штуки впридачу.

— А это кому? — допытывалась Майя.

— На чужую долю, внученька.

— А кто это, Чужая доля?

— Ой, много нынче таких: сирот да беспризорных, куском хлеба обделенных. Все есть хотят, всех жалко.

Сметливая была Майя — бегом к подружке и на ушко: чтоб успела постучаться в окошко. А потом и братец наловчился друзей извещать, так что никогда не залеживались под рушником похрустывающие на зубах пышки.

В том селе начала Майя учиться считать, чтоб быть такой же грамотной, как мама, и получать за это в месяц по пять килограммов муки. Здесь и в чтении поднаторела. Но до сих пор свято верит, что нет на свете науки нужней и человечней, чем впитанные с запахом пышек бабушкины заветы доброты.

ТАКОЕ СЧАСТЬЕ

У Клани, что живет за три дома от нас, совсем разболелись ноги. Даже за чернушками нынче не пошла, хоть большая мастерица солить их. Не столько для себя старается, сколько для брата Алексея. Очень он любит чернушки с детства. А в Донбассе, на шахте, известно, какие грузди...

Пришел из леса и занес Клане грибов. Посверкала она темными, не утратившими живости глазами и угостила меня лучшим, что было в доме — бесхитростной бывальщиной.

Себе в уладу, с горечью пополам, гостю в интерес. Как жалеешь в такие минуты, что рядом нет магнитофона.

— В семье нас пятеро было, я старшая. Восемь исполнилось — пошла подпаском из Аграфениной Пустыни в Спас-Клепики. Подрядилась с соседским мужиком вдвоем пасти стадо: восемь пудов ржаного хлеба да центнер картошки за сезон.

Места там мочажистые, низинные. Ходили в лаптях. Мешковину под них намотаешь, и ладно. К июлю кожа слезала клочьями. Председатель колхоза добрый был дядька. Пожалеет, даст дегтю ноги помазать, да надолго ли хватало его?

Два года была в подпасах, до тридцать пятого. Потом мужик проштрафился — быка проворонил, залез тот в бучило и сдох. На следующую весну мужика не наняли. И я не при деле оказалась. Худо ли, бедно ли — семью кормила, а тут...

Лешка, брат, на три года моложе меня, а головастый. Давай, говорит, наймемся вдвоем. Поглядела я на него, поглядела — совсем еще шкет. А что делать?.. Написала письмо председателю. А он сразу согласился и ответил. Наниматься поехали все же с опаской — ну как не глянется братец. Обошлось. С той весны и пасли вдвоем пять лет кряду.

Леса кругом, без дудки пасти невозможно. Наловчилась я играть. Самой нравилось, и бабы говорили: “Ой, Клав, как заиграешь ты на рожочке — вся душа переворачивается”.

В два ночи выгоняем коров. В десять пригоняем — пауты жучат, не дают покоя. В три снова гоним, и до десяти вечера. Председатель нами доволен, говорит: “Вот бы кто лошадей ночью попас. Ну вовсе некому”. А я и вверни: “Ночь-то наша. Давайте мы будем. Только оплата соответственная”. Быстро договорились. Спросила только, как же ночью лошадей-то пасти, не видно ни зги. “А ты ботала привяжи. Через загон какая махнет — услышишь”.

Какой уж тут сон, когда того и гляди — волки. Лежим в шалаше, у Лешки — бич, у меня палка на всякий случай. Лешка мне: “Ой, Клань,

спать хочется”. Ну, спи. Сама подремлю да вздрогну, голову приподниму — страшно. Где какая мышка пробежит, филин в лесу гукнет — все слышу. Днем чуток отосплюсь.

Зато по осени нагрузили нам целую полуторку: картошки пять кулей, муки ржаной и пшеничной, да грибов-ягод, что насобирали... Сверх — три тыщи рублей деньгами. В голодный-то год. Мать как увидела такое — в слезы от радости. Соседки завидовали: “Ну и девка у тебя работающая”. А и вправду, ту зиму мы самые сытые были, такое счастье...

Потом уж в торфшечки пошла, зарабатывать мануфактуру. Маркизет, мадаполам, ситчик — все по талонам давали, сколько заработаешь. Ну, и старалась, конечно, шурфы били — метр на метр. Тоже все ноги в сырости — торфяник. Потом окопы, потом лесоповал. Такая вот жизнь была наша. Двадцать пять исполнилось, перед свадьбой пошла в первый раз обувь покупать. Спрашивают, какой размер носишь, а я и не знаю...

ПОДРУЖКИ

— Душа моя, гармошка, — вздыхает Клания и уходит взглядом далеко от стола, за которым сидим в избе. Две операции принагнули хозяйку к земле, но карие глаза сверкают живо, так что нетрудно представить, какой азартной плясуньей была она в молодости.

— Помню, уж замуж вышла. Мой-то уснул. А я все не ложусь, каждая жилочка во мне играет. На бугре Лешка Панкратов с гармошкой — море разливанное. И девки голосистые, так и сыпят частушками, одна другой не уступает. Пошла и я на бугор. Мой-то проснулся — пусто в избе. Ах ты ж, гулёна, опять на вечерку убегла!..

А то еще раньше, в торфшечках. За день-то натопаешься, наломаешь спину — вроде ничто уже не мило, когда возвращаешься в час ночи. Но стоит одной отчебучить частушку — и до самого барака наперебой, чуть не вприсядку...

— Спой что-нибудь, — прошу я.

Клания отнекивается для приличия, начинает с прохладцей, как бы поневоле:

*Вот окончится война,
Пойдут ребята ротами,
Я залетку своего
Встречу за воротами...
Вот окончилась война,
Я осталась одна,
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик...*

Нельзя сказать, что частушки на селе вовсе вышли из моды. На том бугре, где отплясывала когда-то Клания, и нынче нет-нет да и заиграет гармонь. Чаще всего валит за нею вся свадьба. И голоса бойко, оттопывают лихо, да без стеснения заворачивают такое, что круче вроде бы и некуда. Своего рода шик. Конечно, и прежде не обходились частушки без соли. Но все же, помнится, меньше было ее, вот так вот, всему селу напоказ.

Я слушал Кланию и думал: неужто с такими любительницами, как она, уйдут в небытие озорные, не пошлые девичьи частушки, в которых жила, а ныне лишь теплится часть светлой, гораздой на выдумку души народа? Неужто некому перехватить давно найденные слова, саму нехитрую манеру рязанских попевочек и страданий?

*Полюбила лейтенанта,
А потом политрука.
А потом все выше, выше,
И дошла до пастуха.*

Мы с Кланей сидим не одни. У окна прикипела к лавке, посверкивая темными глазами, босоногая, в коротеньком платьице Оля. К этой избе она привыкла, пожалуй, больше, чем к своей, что через дорогу. Почти с рождения Кланя ей вроде няньки. Родители — на работу, а дочку — сюда. Сейчас Оля учится не то в третьем, не то в четвертом классе, а все забегает сюда, как к себе домой.

— Трудно без гармошки-то вспоминать, — жалуется Кланя. — Там ведь слово за слово цепляется. Пока товарка поет, у тебя уж новая наготове, ей в пику. — Она замолчала, пытаясь выволить из прошлого еще куплет, как вдруг от окошка отлетела робкая припевочка:

*Я косила у пруда,
Не дает косить вода.
Косилочку — под елочку,
Сама пойду к миленочку.*

Клава строго глянула в ту сторону, показалось: цыкнет сейчас. Но, отмякнув лицом и приосанясь, ответила, как и положено, с зазывной поддевочкой:

*Оля, милочка моя,
Как бы нам не прозевать.
По девятому талону
Будут мальчиков давать.*

И до чего же звонко, нетерпеливо аукнулось:

*Подружка моя,
Пойдем сходим на бугор.
Там одна девчонка плачет,
Ее бросил ухажер.*

Кланя пожаловалась, что не может пойти на бугор, ибо сама “на этой точке”. И завились веревочкой перепевочки, вылетаясь одна в другую легко и складно, как по-писаному...

Гляжу, уж притоптывает Кланя ногой, обутой в стоптанный тапочек. Еще чуть-чуть — и сорвется с табуретки, пойдет сыпать “дробь”. Уже нештучные угрозы припомнились:

*Я свою соперницу
Отвезу на мельницу,
Перемелю ее в муку,
Залётке пышек напеку.*

“ТРАВА РАСТЕТ?..”

— Трава растет? — дипломатично спрашивает меня худенькая, сгорбленная баба Настя, взглядываясь через забор в целинные лоскуты сада-огорода.

— Растет.

— Ну и слава Богу. И хорошо, что растет. Трава свое дело знает. Сорвать ее не пара?

— Константиныч скосит.

— Аль уже договорились с ним?.. Ну, тогда ладно, ладно...

Баба Настя отходит от забора маленькими шажками и начинает рвать траву в другом месте, ухватывая стебли цепкими жилистыми пальцами.

В прошлом году баба Настя привычно расхаживала по нашей усадьбе, как по своей (прежде эта деляна была пустошью), и вывистывала из земли все лишнее. Но не сошлись мы с бабой Настей во мнении: что лишнее

здесь растет, а что нет. Да и туго набитый травой мешок, который она волочила за собой, оказался не подарком для хрупких саженцев. Так что пришлось отказать соседке в таких визитах. Только память у бабы Насти коротковата. Не проходит и часа, как снова возникает над забором обтянутая пестрым платком голова и раздается вкрадчивое:

— Трава растет?..

Анастасии Девменовне восемьдесят два года, большинство из которых прожила в деревеньке Ефремове на Смоленщине, откуда ушли на войну сорок два мужика, а вернулось только двое. Вырастила без мужа двух сыновей и дочь, да одного из сыновей не уберегла. Как наворожили товарки, предупредая ее:

— Этот у тебя не жилец, сильно умный да обходительный.

В техникум приняли Сашу как отличника без экзаменов. И там успевал лучше других. Из близкого города то и дело навещался с приятелем в деревню. Поездом до полустанка, а там — пёхом. Но однажды нарвался на проводницу-ведьму. Узрев висящего на подножке безбилетника, она на ходу открыла дверь тамбура и каблуком по пальцам, побелевшим от холода, каблуком, пока не сорвался парнишка под колеса...

Боль от потери притушилась с годами. Но нет-нет да вспыхнут тлеющие искры ее, и начинает рассказывать баба Настя случайному встречному, каким башковитым парнем был ее первенец.

Сколько всякой работы переделали натруженные руки бабы Насти, трудно даже представить. По всем понятиям, пора человеку и отдохнуть. И дочь, Екатерина Александровна, и зять Алексей Константинович уговаривают оставить все дела. Но не сидится на месте бабе Насте. Только что подметала двор — глядь, уже поднимается с ведром в гору. Да ходко так, без одышки. Хочется бабе Насте, чтобы с ней считались как прежде, когда была в полной силе, а к уважению она знает лишь одну дорожку — трудовую.

Искать подходящую для себя работу бабе Насте становится все трудней. Пошла прополоть огород, да зрение подвело: вместе с сорняками повытаскала и морковь. Хотела борщ посолить — оказался он сладким. Задумала козу угостить капустными листьями, да переусердствовала — одни недозревшие кочаны остались на грядке...

— Ну, мама!.. Уймешься ты наконец или нет?! — срывается на крик Екатерина Александровна. А мне, обернувшись, говорит совсем другим тоном: — Вот так за ней целыми днями и слежу. Только окрик и понимает. Как привыкла в совхозе слушаться бригадира-горлопана, так и сейчас, до сих пор живет в Ефремове, честное слово.

Все бабой Настей руководят: и дочь, и зять, и даже внук Миша. А ей кем руководить?.. Только курами да козой Машкой!

— Ты куда пошла? — подозрительно спрашивает баба Настя у направившейся к крапиве козы и тянет ее назад за веревку. Машка упирается изо всех силенок — мила ей крапива, и лишь завидев над собой прут, сдает позицию. Стоит в задумчивости... И чего стоит? Делом заниматься надо!

— Ты ешь, ешь! — приговаривает баба Настя, шпыняя козу. — Вон какая вкусная травка... Чего не ешь? Ести надо.

— Оставь ты козу в покое, — басит Константиныч.

Опять неладно выходит. Баба Настя замирает, оглядывается: чем бы еще заняться, и начинает щипать ту самую понравившуюся ей гусиную травку. Посушит ее — сенцо будет. На всю зиму, про запас.

Я гляжу, как проворно снуют ее хваткие, потемневшие не столько от загара, сколько от времени пальцы и думаю: сколь нелепа с точки зрения тех, кто бодро шагает мимо бабы Насти на пляж или на рыбалку, ее непосредственность, неукротимое стремление принести семье хоть малую пользу. Что за дремучая привычка: работать не покладая рук. Для того ли живем, чтобы только трудиться?

Признаться, и меня порой берет оторопь от этой неистребимой потребности что-то делать в такие годы, когда многие долгожители едва переставляют ноги. Пора, пора тормозить, расслабиться бабе Насте. Однако не вечный ли двигатель, сызмалу заложенный в ней, и помогает быть “в форме”?

Нет, это не привычка, а кровная, родовая потребность умножать нажитое, та самая многократно охаянная “кулацкая” закваска, которая и делала зажиточной самую трудолюбивую, вырубленную под корень часть российского крестьянства.

Умели некогда на Руси и повеселиться, и поспраздновать всем миром, с песнями и играми: гулять так гулять! Но — работать так работать! Не так, как ныне в нашем селе, когда в девятом часу утра по улице только тянутся на разнарядку работнички, а в половине двенадцатого уже спешат домой на обед.

“Труд — есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!” — был такой лозунг сродни энтузиазму тридцатых годов, когда жила вера не только в лозунги. Но было в нашей истории и другое: жесткий “потолок” зарплаты, хроническое снижение расценок, а рядом — привилегии тем, кто привык лишь кудряво говорить, откровенные демагоги и захребетники: “Дурака работа любит”. И это “другое” с годами развратило людей. Праздность как жизненная установка — тот же разврат.

Вспоминаю откровение сынишки своих знакомых, которые совсем было собрались уехать на Запад, вдогонку за сладкой жизнью, да вдруг охолонули к этой затее. Почему?

— А там, говорят, работать надо.

Память подсказывает и другое. Одна из японских фирм вынуждена была снова принять на работу незаконно уволенного сотрудника. Принять-то приняли, но занятие ему придумали весьма своеобразное: выделили место в проходной предприятия и поручили... сидеть от звонка до звонка, на виду у всех, ничего не делая. И получать за это зарплату. От такой “привольной” жизни бедолага сгорел, не протянув и месяца.

Вот так же, наверное, и с бабой Настей. Останови ее “вечный двигатель”, заставь ничего не делать, и... Не выдержит она такой жизни.

ДОМ

Лишь сейчас, через пять лет после того, как начал я строить дом, с особой остротой всплыл в памяти мимолетно оброненный совет Юрия Казакова:

— Не заводи свой дом.

Прочел я его в воспоминаниях Юрия Пахомова как нечто экзотическое и вроде б забыл. Мало ли причуд у известных писателей. Вот и этот оригинальничал, опровергая известную истину о том, сколь хорошо иметь свой дом, свой угол на этой грешной земле. Может, сказанул так под настроение, замаявшись колоть сучковатые поленья и растапливать дымящую печь или устав латать обветшавшую городьбу вокруг усадьбы...

Чтобы созреть до таких откровений, понадобились годы и годы... И дело даже не в том, что дом, как живой человек, требует к себе постоянного внимания и ухода, а новый дом выкачивает бессчетное количество сил и средств — валится все это как в прорву.

Дом привязывает к себе, так что на дальние поездки и путешествия следует поставить крест. Нетрудно себе представить, что значил такой отказ для Юрия Казакова, вкусившего сладость дальних странствий, без которых не было бы ни “Северного дневника”, ни многих его колдовских рассказов.

Вот и я с той поры, как заложил фундамент дома, вопреки давней привычке не отлучался почти никуда далее московской да рязанской земель. Правда, не благоприятствуют дальним поездкам и нынешние условия жизни. Что-бы слетать, как прежде, на благословенный Дальний Восток, едва ли хватит моей пенсии за год. Да, впрочем, и тяга к перемене мест слабее, чем прежде. То ли сказывается возраст, то ли хватает мне и здесь простора да разнообразия: лес да река рядом, и тропы никуда не заказаны, за Окою — Мещера.

Как не вспомнить при этом наказ древнего китайского мудреца Конфуция: “Если у тебя есть телега — сожги ее, есть лодка — проруби в ней дыру... Ты должен сидеть на месте, слушать пение своих петухов, лай своих собак и растить свое поле...”

Своего поля нет — есть огород да новый сад, где топорищатся хвостики саженьцев. Однако радостей от всего этого пока что маловато. Чем дольше строил я дом, тем чаще наступала меня занозистая мыслишка. Крал ли кирпичи под знобким октябрьским сиверко, таскал ли ведрами глину со дна будущего погреба, ходил ли по усадьбе с участковым после того, как ночью исчезло ползабора из рабицы, одна и та же мыслишка назойливо напоминала о бренности моих стараний: “На кой ляд связался ты с этой “стройкой века”?.. Сидел бы в своей теплой городской квартире да пописывал рассказы и повести — куда более приятное занятие, чем ковыряться в глине и цементе. Правда, спрос на художественную литературу в издательствах близится к нулю, да ведь и с этим долгостремом никакой выгоды не предвидится. Одни хлопоты и заботы. Доведется ли пожить в новом доме? И станет ли наезжать сюда с семейством наш сын?.. Дай-то Бог!”

Нет еще в доме ни пола, ни окон, ни дверей — одни проемы. И кто скажет, сколько еще лет придется ограничивать семью в самом необходимом, прежде чем запалим с женой русскую печь и в ожидании гостей присядем перед топкой, завороченно глядя, как приплясывает над поленьями бойкое пламя?..

Тяжек крест, но нести его надо. Свой дом — своя опора на земле. А без опоры кто мы?.. Голь перекатная!

С МАССАЧУСЕТСОМ УХО В УХО

В нашей старой избе под Рязанью сегодня — “праздник топора”. Приехали плотники из Москвы — ближе не удалось сговорить мастеров, — и появилась надежда, что наконец-то над кирпичными стенами нашего дома вырастет крыша.

На шабашку выехала сплоченная давним знакомством бригада. Самый старший и опытный Геннадий Борисович, помеченный залысинами и прокуреным басом, в этот раз отказался от привычной роли бригадира, передав бразды правления более молодому напарнику Владимиру Андреевичу, гвардейцу под метр восемьдесят. “Пусть узнает, почем фунт лиха, — прокомментировал этот жест Борисыч, — а то критиковать меня все горазды”. “Все” — это и Александр Федорович, чья шапка седых волос и очки придают ему вполне профессорскую внешность, и Николай Павлович, на вид и по манерам душа-парень, хоть давненько уже ходит в дедах.

Сидим за столом, как водится по случаю почина, и пропускаем по маленькой, а разговор скачет то по опорным балкам будущей крыши, то по дремучим дебрям политики. Но чаще всего четверо возвращаются к тому делу, от которого только что отошли. И, как выясняется, делу настолько серьезному, что до недавнего времени само название их научно-исследовательского института было секретом для посторонних. Институт и институт без какой-либо таблички у входа, мало ли таких по Москве.

Вот только зарплату в НИИ перестали платить, задолжав за лето, и поехали заведующие секторами и отделами (все четверо) в отпуск без содержания зарабатывать “копейку” на стороне. Благо, плотницкие навыки приобрели еще во времена студенческих стройотрядов, да и в обычные отпуска приходилось подрабатывать.

— В прошлом году поехали на шабашку, — вспоминает Александр Федорович, — хозяйка ключи дала от избы, сказала, что приедет через два дня. Ну, взяли мы денег на еду и на то, чтоб горло не пересохло. Но пока ехали в поезде, все деньги угрохали на книги, и хозяйку потом ждали, как мать родную...

Из Москвы до нашего села четверо доехали без билетов, по документам, свидетельствующим, что податели сего не получают зарплату и потому просьба отнестись к ним с пониманием.

— Контролеры на нас зверями смотрят, но штрафов не берут. И нам неловко бумажки эти совать. А куда деться?..

Мой шурин, сагитировавший меня нанять команду его сослуживцев, отзывался о них как об опытных плотниках. Но слушая споры о тонкостях компьютерной инженерии и кадровых перестановках в оборонке, я все более терзался сомнениями: “Ну, хорошо, в альпинизме и дельтапланеризме, как выяснилось из разговоров, они мастаки. Но плотницкое ремесло, как и любое другое, требует постоянного тренажа, чтобы не растерять навыков. А какой там плотницкий тренаж у кульманов да лазерных принтеров?”

Тут еще Геннадий Борисович вроде бы между прочим оговорился, что в той программе, которую он ведет уже двадцать лет, они с Массачусетским технологическим институтом идут по результатам уху в уху. Правда, скоро он преподнесет заокеанским коллегам такой сюрприз, что Америка только ахнет. Вот закончит он крыть крышу, вернется в Москву, и... — совсем немного доработать осталось.

Утро на стройке началось с затяжной дискуссии на тему, под каким углом целесообразнее пустить скат. Над увядшей картофельной ботвой витали синусы и косинусы, а позднее до меня долетел напористый голос бригадира:

- По максимуму отпиливаем.
- Лучше по минимуму.
- Монсеньор, уверяю вас — лишняя работа.
- Да что ты, трам-тарарам! Зато с гарантией!

Странновато звучали для слуха эти перепады от изысканных пассажей до забористых матюгов. Но понять ситуацию было нетрудно: расслабилась интеллигенция, входит в иную роль. И вряд ли такие дебаты мешают делу.

Через неделю, когда под “раз-два, взяли!” бригада подняла наверх тяжеленные бревна и стропила обозначили четкий контур мансарды, на нашу окраину стали наведываться знатоки. Просто так, посмотреть, как плотничают эти москвичи, а заодно, может быть, и приглядеть что-то небеспольное для себя. Они побряхывали, сплевывали горечь дешевых сигарет и приходили к согласию в одном:

- На совесть работают мужики.

Не знаю, как там в Массачусетском институте насчет новейших достижений в электронике и инерциальной навигации, но уверен, что по навыкам борьбы за выживаемость заокеанской профессуре напрасно тягаться с нашими спецами. Ну кто из них, скажите на милость, способен доводить идею до конца на полупустой желудок, без гарантии, что за эту работу заплатят?.. Я уж не говорю о том, что едва ли найдется среди закордонных конкурентов оборонки умелец, способный с трех ударов вогнать в стропила гвоздь-сто-пятидесятку по самую шляпку. Так что пока еще держим форму. Надолго ли хватит пороху?

НАПОСЛЕДОК

Родился я на Урале, в краю дымчатых сосен и чистых в ту пору озер. Там учился ходить с мамой замшелыми тропами по грибы, там родился с горами да студеными реками в туристских студенческих походах. Там, на земле Павла Бажова, собирал среди старожиллов древние сказания о рудознатцах. И казалось, что лучшего, более дорогого сердцу края не найти на земле.

И когда выпускником университета приехал на Сахалин, долго не мог оставить привязанности к отчему краю. Даже в землячестве уральском собирались регулярно и вместо гимна пели “Уральскую рябинушку”. Все казалось, что нет здесь, на острове, ни вековых, подпирающих небо сосен, ни сверкающих драгоценными камнями “занорышей”, ни богатой преданиями старины, ни характерных говоров... И первое время думалось: вот поработаю здесь еще годик-другой и вернусь в родные места, на Урал.

Так длилось до той поры, пока не пустился бродяжить по Курилам, от Кунашира до Камчатки. Не знаю, чем околдовала меня эта земля. Но уж точно не вулканами и не бездорожьем, хоть и в том, и в другом была своя привлекательность. Могучее дыхание океана и буйство субтропиков на южных островах, суровая красота северных скалистых бухт с их каменными,

указующими в небо перстами — кекурами, невыветрившийся дух дикой вольницы, оставшийся со времен первопроходцев, — все это настолько приворожило меня, что потускнели воспоминания об Урале, и принял я Дальний Восток, как свою вторую Родину.

Но у судьбы — свои причуды. Не думал, не гадал, что большую часть жизни отдам Москве. Нет, не скажу, что вновь очарован своим пристанищем, хоть и красот, и старины здесь немеряно. Не чувствую я себя привольно в мегаполисе, где скоро машин будет больше, чем людей, а растущие этажи домов совсем заслонили солнце.

И было б мне здесь совсем неудобно, если б не та самая изба под Рязанью, где спасаюсь от суеты и смога каждой весной. Здесь я нашел свою третью и, надеюсь, последнюю привязанность, или “присуху”, как здесь говорят. Но не стану называть этот “край березового ситца” своей третьей Родиной, как не может быть и второй. Только с годами пришло осознание того, сколь многолика и едина в этом многообразии моя Россия, моя единственная. И эти короткие записи о былом — как малая дань любви к ней, моей неоглядной Отчизне. Да простится мне столь высокопарный слог, но иначе сказать не могу.